

8. Українська інтелігенція і влада: Зведення секретного відділу ДПУ УСРР 1927–1929 рр. / упоряд.: В. М. Даниленко. – Київ : Темпора, 2012. – 756 с.
9. Калакура, Я. С. Джерелознавство / Я. С. Калакура // Українська архівна енциклопедія. Д-М. Робочий зошит. – Київ : Держкомархів України, 2006. – С. 105–106.
10. Ковальчук, О. О. Українське історичне джерелознавство доби романтизму: [Монографія] / О. О. Ковальчук. – Київ, 2011. – 324 с.
11. Мельник, Л. Г. Предмет і методологія історичної науки / Л. Г. Мельник. – Київ: Вища школа, 1977. – 134 с.
12. Петров, В. П. Українська інтелігенція – жертва більшовицького терору / В. П. Петров // Слово і Час. – 2010, жовтень. – № 10 (598). – С. 79–99.
13. Преловська, І. Проблема використання у архівно-кримінальних справах терміну «фашизм» щодо Української автокефальної православної церкви (1921–1939) у міжвоєнний період / І. Преловська // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова). Матеріали Дев'ятої Міжнар. наук. конф. 25–27 травня 2011 р. – Київ : НКІПКЗ, 2011. – С. 158–160.
14. Преловська, І. Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938) / І. Преловська // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова). М-ли X Міжнар. наук. конф. (30 травня – 1 червня 2012 р.). – Київ, 2012. – С. 140–144.
15. Преловська, І. М. Методи і принципи дослідження документальних джерел з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930) – Української православної церкви (1930–1939) / І. Преловська // Український Археографічний щорічник. Нова серія. Вип. 18. Український Археографічний Збірник. Том 21. – Київ : Український письменник, 2013. – С. 63–100.
16. Ульяновський, В. І. Історія церкви та релігійної думки в Україні: Навч. посібник : у 3 кн. Кн. 2. Середина XV – кінець XVI століття / В. І. Ульяновський. – Київ : Либідь, 1994. – 254 с.
17. Шаповал, Ю. І. ЧК–ГПУ–НКВД в Україні: особи, факти, документи / Ю. І. Шаповал, В. І. Пристайко, В. А. Золотарьов. – Київ : Абрис, 1997. – 608 с.

**Кузнецова Т.И.**

## **ИНФОРМАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ ВЕРБАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ)**

Понимание того, что есть исторический источник и его информативный потенциал, напрямую связано с представлением о предмете исторической науки. Таковым является человек во времени и пространстве или человеческая деятельность [1, с. 8] или социальная реальность, точнее социально-природная (для архаических обществ – природно-социальная), которая создается разнообразным по характеру и уровням общением людей и включает в себя не только физические действия человека в различных сферах его жизни и деятельности, но и его эмоционально-ментальный мир, в том числе – мир воображаемого [см. 3, с. 7; 5, с. 22]. Такое понимание предмета исторической науки побуждает акцентировать роль текста, который, с нашей точки зрения, есть любого характера внешнее выражение человека, в силу этого являющееся актом и результатом коммуникации. Поэтому текст можно определить как узел разнохарактерных и разноуровневых социальных связей, распутывая который историк обретает возможность увидеть через фрагмент целое, осмыслить его, понять, реконструировать. Ядро текста – это воплощенная в нем, в его структурных компонентах определенная картина мира, которая превращает текст из творения в творца и сказывается на его социальном созидательно-разрушительном потенциале. Таким образом, текст является составной частью социальной реальности, и сама реальность предстает как сложная система разного рода текстов, на исследовании, анализе которых концентрируется работа историков. При этом крайне важно осознать, что содержание информации текста не тождественно реальности и содержательной является форма текста. Те тексты, кои попадают в поле зрения представителей этой отрасли науки, становятся историческими источниками. Отсюда очевидно, что потенциальный их круг почти бесконечен, ибо ограничивается лишь возможностями внешнего выражения человека и сохранностью, доступностью возникающих в процессе человеческой коммуникации текстов.

Информация же, извлекаемая из исторических источников, зависит как от понимания историком предмета своей науки и соответственно поставленной им для решения проблемы, так и от жанра отобранных для анализа текстов, от аналитических навыков исследователя, равно как и от представлений его об информативном потенциале источников. Его характеристика может быть двоякой, опирающейся на два критерия. Первый из них – это способ подачи информации, согласно которому источниковая информация является прямой, намеренной и косвенной, ненамеренной; и второй – содержание, обнаруживаемое в трех взаимопроницаемых сферах – жизненных реалий, представлений о разнообразных явлениях мира и человеке (причем представления могут быть формируемыми и наличными, осознанными и бессознательными) и способа мировосприятия/мышления. Дабы в полной мере раскрыть информативный потенциал различного рода источников, необходим анализ разного уровня структурных элементов любого

текста, используемого как исторический источник – начиная с формы его бытования и до, например, внутренней формы слова. Так, в 30-е гг. XX в. значимым компонентом информационного пространства были публикуемые для широкой аудитории речи политических лидеров. Осмысление этого феномена позволяет выявить ряд транслируемых актом публикации устного слова лиц, наделенных властными полномочиями, представлений о роли подобного слова, о его авторе, о времени, о власти и ее носителе. Акт публикации речей представителей правящей верхушки, во-первых, утверждает мироустроительный смысл устного слова и потому представляет его автора в качестве демиурга, во-вторых, ситуативно-конкретное возводит в ранг надвременного, являясь, таким образом, способом преодоления времени. Факт публикации речи фиксирует момент превращения некоего настоящего (ситуативный контекст речи) в прошлое и введение его в новое настоящее в качестве инструмента и материала построения настоящего и будущего. Так опубликованный текст стягивает времена, ибо с момента его издания и распространения он становится частью любого грядущего настоящего. В-третьих, публикуемая речь, например, главы правительства/государства актуализует его личные прямые связи с аудиторией и тем самым умаляет публичный характер власти.

Не менее семантически значим характер публикации текстов. Так, например, в 1934–1935 гг. в Латвии увидело свет двухтомное собрание сочинений статей и речей Карлиса Улманиса, который в мае 1934 г. совершил в стране государственный переворот, распустив сейм и политические партии. Сам факт появления этого двухтомника после переворота свидетельствует о придании сим текстам статуса идеологического основания общества. Второй том данного собрания [7] содержит 93 речи К. Улманиса, причем 69 из них относятся ко времени после 15 мая 1934 г., что неявно, но реально закладывает в подсознание читателя представление о наибольшей значимости настоящего и о предшествующем периоде лишь как о подготовительном этапе, т.е. в определенной степени не обладающем самоценностью.

Все подобранные в данное издание речи объединены в три раздела, каждый из которых имеет особым образом оформленное название. Крупным шрифтом выделено *Runas par/Pечи о* –, затем следует вне языковой нормы поставленный знак тире – и далее – краткое описание содержания речей соответствующего раздела. Ненормативная постановка знака препинания уравнивает в значимости акт речи и ее содержание. Более того, приоритет отдается именно акту речи, на что указывает избранный для написания самого слова *runas/pечи* особо крупный шрифт. Таким образом, манифестируется демиургический характер звучащего слова и формируется представление о том, что именно оно определяет содержание исторического процесса. Правда, это справедливо преимущественно в отношении только слова вождя и объединителя латышского народа К. Улманиса. Исключительная роль его слова подчеркивается и наличием эпитафий к каждому разделу указанного сборника, ибо они представляют собою выдержки из какого-либо высказывания самого К. Улманиса, что позиционирует его как миротворца, а его слово как всеобъемлющее. Наличие подобных эпитафий к тому же изобличает неостребованность диалога с другими и задает представление об унифицированном мире, в котором исключается разнообразная множественность.

В отсутствии или наличии названий текстов, исследуемых в качестве исторических источников, проявляется самосознание, мироощущение их авторов, отношение к возможной аудитории и представление о ней. Так, если многие стихи О. Мандельштама названий не имеют (в книге стихов *Камень* 69 текстов, из них 47 без названий и в них часты личные местоимения *я* и *ты* [4]), то поэтические тексты Н. Гумилева [2] отличаются всегда имеющимися названиями, которые указывают на конкретное ли явление, предмет ли, лицо. И это говорит о различном видении этих людей себя в мире. Один из них ощущает себя предстоящим миру и устанавливающим диалог с ним в его многообразных проявлениях, второй же утверждает себя в качестве завоевателя, того, кто осваивает и присваивает.

Формулирование названий текстов, выбор слов, конструирование фразы дают возможность обнаружить наличные, не всегда осознаваемые, и внушаемые аудитории представления о феноменах социально-природного мира. Так, например, анализ названий юбилейных изданий, вышедших в свет в первой Латвийской республике (1918–1940) позволяет выявить официально транслируемые представления о государстве. Первое юбилейное издание, которым были отмечены пять лет со времени провозглашения Латвийского государства появилось в 1923 г. и называлось *Valsts pieci gadi/Pять лет государства* [8]. Название построено так, что формирует

представление о государстве как о растущей личности. Персонификация государства была продолжена в 1928 г. и нашла свое отражение в самом многотиражном издании (180 тыс. экземпляров) *Latvijas brīvības cīņas un sasniegumi/Борьба Латвии за свободу и ее достижения* [6]. Надо сказать, что оборотной стороной персонификации государства является игнорирование значимости индивидуального я и соответственно деперсонализация истории как пространства взаимодействия людей. Это подтверждается, в частности, редкостью упоминания личных имен в указанных изданиях.

Представление о человеке и его соотношении с людской общностью вычитывается, например, из грамматических форм слов. Так, ведущей политической партией в Латвии в 1920–1934 гг. был *Латышский крестьянский союз/Latviešu Zemnieku savienība*. Если сохранять свойственное ментальности латышей выраженной и формируемой языком, то следовало бы это название политической организации переводить как *союз латышей крестьян*, однако такая вербальная конструкция не отвечает нормам русского языка, равно как и ментальности русских. Латышское название, в котором употреблены существительные, указывает на общность, состоящую из индивидов, кои не исчезают в ней, подобно множеству спичек в коробке. Русское же название, составными частями которого являются прилагательные, также указуя на общность, акцентируют ее качественную определенность, дарованную растворившимися в ней индивидами.

И, наконец, самый глубокий уровень структуры вербального текста – внутренняя форма слова, значение которой рассмотрим на примере слова *zemnieks/крестьянин*, предложенного вышеупомянутой политической партией в качестве модели самоидентификации для ее потенциальной аудитории. Внутренняя форма этого слова подчеркивает принадлежность индивида земле, так как данная грамматическая форма с суффиксом – *nieks* выражает не столько действия субъекта, как в слове *zemkopis/земледелец*, сколько взаимное расположение на одной плоскости земли и человека. Кроме того, *коннотации* привносит указанный суффикс, ассоциативно связанный с существительным, обозначающим *пустяк, безделица*, а также корень *zet* от *zeme/земля*, коррелирующий с предлогом *zet*, т.е. *под*. В результате насаждаемое официально-установочными словами *zemnieks/крестьянин* в известной степени умаляло значение человека как субъекта, проявляющего себя в самостоятельном смысло-и-целесообразном и инициативном. Следует отметить, что, судя по беседам со студентами и преподавателями ДУ, сниженное значение слова крестьянин ощущается и современными латышами.

Подобное чтение, в данном случае вербальных исторических источников (однако это справедливо по отношению к любому характеру текстов), открывает возможность неоднородного, углубленного понимания исторического процесса как сложной системы человеческого взаимодействия во всех сферах жизнедеятельности людей.

1. Блок, М. Апология истории / М. Блок. – М.: Наука, 1986. – 254 с.
2. Гумилев, Н. Собр. соч. в 4-х тт. Т.1 / Н. Гумилев. – М.: Terra-Terra, 1991. – 416 с.
3. Ле Гофф, Ж. Средневековый мир воображаемого / Ж. Ле Гофф. – М.: Прогресс, 2001. – 439 с.
4. Манделштам, О. Камень / О. Манделштам. – Л.: Наука, 1990. – 398 с.
5. Пастуро, М. Символическая история европейского средневековья / М. Пастуро. – СПб.: Alexandria, 2013. – 448 с.
6. Latvijas brīvības cīņas un sasniegumi. – Rīga: Brīvā Zeme, 1928. – 32.lpp.
7. Ulmanis, K. Sabiedriskie raksti un runas II sēj., II sēj. / K. Ulmanis. – Rīga: Zemnieka Domas, 1935. – 535.lpp.
8. Valsts pieci gadi. – Rīga: Izglītības ministrijas izd., 1923. – 32.lpp.

**Костякова Ю.Б.**

## **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТОТАЛИТАРНОЙ МЕДИАРЕАЛЬНОСТИ КАК ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА**

Материалы средств массовой информации советского периода являются, на наш взгляд, социокультурным феноменом, возникшим под влиянием не только технического, экономического, но, прежде всего, политического фактора. Своей совокупностью они формировали у аудитории искаженные представления о действительности, то есть своеобразную медиареальность, основу которой составляли политические установки высшего руководства партии и мифологизированные стереотипные представления о действительности.

В отличие от картины и модели мира, под которыми в первом случае подразумевается детализированная система представлений человека о мире, а во втором – своеобразный набор сведений о действительности, медиареальность представляет искусственно конструируемый куль-